



СОЛДАТЫ
ПОБЕДЫ

**ВЛАДИМИР
БУШИН**

**Я ПОСЕТИЛ
СЕЙ МИР**

Из дневников фронтовика

Владимир Сергеевич Бушин

Я посетил сей мир. Из

дневников фронтовика

Серия «Солдаты Победы»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6371205

Я посетил сей мир. Из дневников фронтовика: Алгоритм; Москва; 2012

ISBN 978-5-4320-0024-8

Аннотация

Владимир Бушин – писатель, фронтовик, человек чести, никогда не изменявший своим убеждениям.

С осени 1942 года Владимир Сергеевич участвовал в Великой Отечественной войне в составе 50-й армии, прошел боевой путь от Калуги до Кенигсберга. Потом – Маньчжурия, война с Японией. На фронте вступил в партию, публиковал свои стихи в армейской газете «Разгром врага». После возвращения с войны окончил Литературный институт им. Горького, работал в газете «Молодая гвардия», где стал широко известен как литературный критик и мастер фельетона.

В книгу вошли уникальные, ранее не публиковавшиеся отрывки из фронтового дневника Владимира Сергеевича, с его собственными комментариями к своим размышлениям более чем полувековой давности.

*Книга также выходила под названием "От Калуги до
Кенигсберга. Фронтной дневник"*

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Но прежде замечу... | 6 |
| Из дневника 1944 года | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 47 |

Владимир Бушин

Я посетил сей мир. Из дневников фронтовика

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Но прежде замечу...

Я начал вести дневник в двадцать лет на фронте. Уже после войны узнал, что это запрещалось, но я никаких запретов не изведаль, может быть, потому, что, будучи радистом, делал записи чаще всего во время одинокого ночного дежурства на РСБ (радиостанция среднего бомбардировщика, установленная в виде закрытого фургона на полуторке). К тому же я был комсоргом роты и в этом качестве нередко приходилось бывать в ее разных, разбросанных по линии фронта взводах и отделениях, т. е. быть не на глазах начальства. Это также давало определенные возможности для ведения дневника. Да и знал о моем дневнике, пожалуй, только мой ровесник и друг Райс Капин, казах из Ташкента с довольно странной для казаха фамилией. Светлая ему память...

Мариэтта Чудакова, известная специалистка по дневникам, пишет, что форма дневника «позволяет создавать иллюзию свободного выражения мыслей и впечатлений автора» (КЛЭ, т.2. с.707). Что за чушь – почему иллюзию? Я писал все, что хотел, безо всяких иллюзий. Другое дело, что в моем дневнике нет записей, например, подобных этой:

«Утро человека начинается бурной физиологией. Человек гадит, мочится, издает звуки, харкает и кашляет, чистит протухшую табачищем пасть, вымывает гной из глаз и серу из ушей, жрет, рыгает, жадно пьет и остервенело курит. На-

сколько опрятнее пробуждение собаки.

Тяжелое хамство дремлет в моей груди.

Не осталось ничего, лишь скучная, бессильная злоба».

Какая тонкая наблюдательность! Какая откровенность!
3 ноября 1951 года это написал в своем дневнике уже всего объевшийся, утопавший в богатстве 32-летний мизантроп Юрий Нагибин.

Или вот что записал в дневнике 10 сентября 1976 года Андрей Тарковский: «В ночь на 9-е умер Мао Цзэдун. Пустячок, а приятно» (РГ.21.2.08). И это о смерти человека, который возглавил борьбу великого народа против многовекового рабства хищников Запада и привел к победе... Я подобную запись не мог сделать даже 30 апреля 1945 года, когда мы узнали о самоубийстве Гитлера.

В моем дневнике нет таких записей просто потому, что у меня совсем другие глаза, иная натура, совершенно непохожий склад ума. У осетинского поэта Бориса Муртазова есть стихотворение «Разные глаза». В моем вольном переводе оно выглядит так:

— Мне тошно на московских улицах! —

Сказал один москвич, мой друг. —

Иду — и хочется зажмуриться

От рож каких-то, от пьянчуг!..

Ответил я: — Ничуть не меньше

И у меня хлопот с Москвой:

Такая пропасть милых женщин,

Что так и вертишь головой!

В этом все дело.

Но Чудакову далеко превзошел критик Бенедикт Сарнов. Он уверяет, что иные советские писатели хитроумно нахвалялись в дневниках Советскую власть, создавая иллюзию своей лояльности и даже любви к ней. Зачем? А это, говорит, «для глаз будущего следователя». Вдруг, мол, нагрянет ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ и при обыске уж непременно обнаружит дневник, а там – сплошные восторги о Советской власти и здравицы в честь товарища Сталина или раскаяния в своих антисоветских заблуждениях. Ну, и все подозрения тотчас рассыплются в прах. Может, еще и орден или Сталинскую премию дадут хитрецу.

В качестве примера Сарнов называет известного до войны драматурга А. Н. Афиногенова, автора талантливых пьес, в том числе замечательной «Машеньки», по которой в 1942 году был поставлен фильм, тогда же, в дни войны получивший Сталинскую премию. Автор пьесы этого не дождался. Сарнов приводит такую, допустим, запись драматурга: «Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Революцией. Как часто забываем мы все, от чего избавлены, как часто морщимся и ежимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо. А если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недоволь-

ства рассеялись бы мгновенно, и мы краснели бы от стыда за свою эгоистическую забывчивость... Я всем сердцем люблю новую жизнь!» Критик убежден: это – для Ежова! Он уверен: интеллигентный человек не может любить Советскую власть, не может думать, что в прошлом были ужасы, которых при Советской власти уже нет. Как и о том, что в нынешней России столько ужасов, коих мы не ведали в Советское время.

А Александр Николаевич погиб в 1941 году во время налета немецкой авиации на Москву. Между прочим, это случилось в здании ЦК, на которое упала бомба. Странно, что Сарнов не использовал сей факт для доказательства того, что Афиногенов сознательно выбрал место своей гибели, чтобы еще раз заверить партию и правительство в своей преданности и любви. Странно и то, отчего критик, приведя известные строки из дневника К. Чуковского о том, как они с Пастернаком наперебой восхищались Сталиным, увидев его в президиуме съезда комсомола, не зачислил и это в графу «для будущего следователя», для Ягоды.

В нашей литературе наиболее известны короткие дневниковые записи Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, многолетние с 19 лет до смерти дневники Толстого, короткие записи Чехова... В более позднее, в Советское время – Бунина, Пришвина, Чуковского, «Рабочие тетради» Твардовского, воспоминания Эренбурга, Нагибина, Куняева... В сущности, своего рода дневниками оказались и «Камешки на

ладони» Солоухина, и «Затеси» Астафьева, и «Мгновения» Бондарева... Я думаю, что все упомянутые писали дневники не из страха перед Третьим отделением или КГБ и даже не перед самим Сарновым. Так писал и я, не пытаясь создавать никаких иллюзий.

Надо еще заметить, что я начинал дневник, разумеется, безо всякого прицела на публикацию. Ну, кого могли заинтересовать писания двадцатилетнего безвестного солдата? Да я и сам не думал о литературском будущем, хотя вскоре начал печатать стихи в армейской газете «Разгромим врага». Однако гораздо позже, когда мое имя замелькало, даже можно сказать замельтешило в пресса и встало в определенный литературный ряд, читатели не раз обращались ко мне с предложением или с просьбой написать воспоминания. Так, незнакомый мне В. Андрианов после публикации в «Завтра» моей статьи о поединке на телевидении Г. Зюганова и демократа Л. Гозмана прислал мне по интернету 29 апреля 2011-го года и упрек и призыв: «Владимир Сергеевич! Зачем Вы тратите драгоценные «снаряды» своей публицистической «пушки» на таких ничтожных политворобьев, как Леонид Гозман? А кому интересны бредовые выхлопы ума подельника Горбачева по развалу страны и всего соцлагеря бывшего секретаря ЦК Валентина Фалина или убогой думской функционерши «Едра» Яровой? Их и знать-то никто не знает! А Гозман настолько сер, безлик и тягостен... Двойник Льва Новоженова. Треп этих людей просто смешон

и вступать с ними в дискуссию на полном серьезе – это создавать им рекламу. Извините, но для такого автора, как Вы, это мелкотемье».

Я согласен с оценками «этих людей», но согласиться, что понапрасну веду пальбу из пушек по воробьям, не могу. Да, воробьи! И сами по себе они меня совершенно не интересуют, и я не рассчитываю ни устыдить их, ни переубедить. На это, похоже, надеется Геннадий Зюганов. Он то уверяет их, что им будет стыдно за те гнусности, которые они льют на Ленина; то приглашает посетить сайт КПРФ; то говорит: «Перечитайте переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем». Пере-? Да они ее и не читали, скорей всего и не знают о ней, ибо все это их совершенно не интересует, чуждо им и отвратительно.

Да, говорю, это воробьи, но им же предоставлены самые высокие в стране трибуны, их слушают миллионы и они, в сущности, тиражируют не свои собственные «бредовые выхлопы ума», а взгляды, мысли, оценки враждебной народу верховной власти. Они – лишь повод, чтобы ударить по позиции именно антисоветской верхушки. И я вовсе не «дикуирую на полном серьезе». То, что я проделываю с ними называется иначе.

А дальше В. Андрианов пишет: «Мне кажется, Вы должны заняться писанием мемуаров. Интереснейшего материала у Вас уйма. Детство, юность, война, Литинститут, Ваше становление как поэта и писателя, встречи с великими

людьми, перестройка, Ваша яростная борьба с разрушителями СССР... Все это было бы чрезвычайно интересно и познавательно.

Большая просьба: отложите в сторону всю текучку, возьмитесь за очень нужное для читателей и для истории русской литературы дело – за воспоминания!»

Недавно Светлана Лакшина даже попросила у меня поччитать мои воспоминания – от кого-то слышала, что они уже опубликованы. Увы... Воспоминания – это совсем иной и очень соблазнительный жанр. Но дневник в какой-то мере может заменить воспоминания, а в некотором смысле он даже предпочтительней. Тем более что я буду дневниковые записи сопровождать примечаниями нынешних дней и воспоминаниями.

Но чтобы ввести читателя «в курс моей жизни», начать придется именно с воспоминаний, точнее, с биографической справки. Если кратко, то выходит дело так.

Я родился 24 января 1924 года в Глухове. Это недалеко от Ногинска (Богородска), что в Московской области. Мать Мария Васильевна в молодости работала ткачихой на фабрике или, как тогда говорили, мануфактуре Арсения Ивановича Морозова, кажется, одного из знаменитого рода фабрикантов. Я после двух сестер был третьим ребенком в семье, вернее, четвертым, – первенец моих родителей умер в младенчестве. Мать тогда уже не работала. Отец Сергей Федорович Григорьев-Бушин лет в двадцать окончил Алексеевское

юнкерское училище, что находилось в Лефортове, словом – офицер царской армии, позже – врач-хирург и член партии, уже просто Бушин. И мать до моего рождения какое-то время тоже состояла в партии. Отца почему-то часто переводили по работе с одного места на другое в пределах Московской области. Он был главным врачом в Минино, Раменском, Кунцево, а с 1933 года, видимо, когда я начал что-то соображать, мы жили в Измайлове, которое тогда было подмосковным селом. Его образующим центром с давних дореволюционных времен являлась прядельно-ткацкая фабрика, а потом и колхоз «Красная гряда». При фабрике – несколько больших и не очень больших корпусов и домов в два-четыре этажа, которые с дореволюционных времена называли спальнями. В них жили рабочие и все сотрудники фабрики. Существовало два двора – старый и новый, почему-то получивший название Балкан. Тут же была хорошая полуторазэтажная больница, тоже дореволюционная, где отец работал главным врачом. Последнее место его работы – уже в самой Москве, какая-то большая больница в Сыромятниках. Я там не был, но помню горделивые восторги деда: «Какая больница!...» Отец умер в 1936 году... Однажды к Коктебеле я написал стихотворение «Воспоминание в Крыму об отце».

Он умер от чахотки в сорок.
Его в Крыму бы полечить!
Но не легко туда в ту пору
Путевку было получить.

Но, впрочем, и не в этом дело,
А в складе том умов, сердец,
При коем дух превыше тела, —
Таким и был он, мой отец.

То партячейка, то субботник —
И всюду первым, не вторым —
То мореплаватель, то плотник...
И где там Крым! Какой там Крым!

А я, продукт эпохи новой,
Дитя литфондовских щедрот,
Благополучный и здоровый,
В Крыму едва не каждый год.

А мать умерла в 1981-м. Это было в Нагатино, где она жила со старшей дочерью. Я сидел у ее постели, она гладила мне руку и говорила: «Я ухожу...» Почему-то мама не похоронила урну с прахом отца сразу, и она оставалась в сундуке до ее смерти. И тогда собрались мы перед поездкой в Глухово на кладбище всей семьей – родители в урнах и нас трое, их детей. Там, на глуховском кладбище они и лежат...

Как большинство советских людей, свою родословную дальше бабушки Арины Никифоровны, умершей в 1944 году и дедушки Федора Григорьевича, умершего в 1936-м на полгода раньше отца, я не знал. А родители матери умерли еще до революции. Некая Лариса из Ленинграда, тупая ан-

тисоветчица, поселившаяся на моем сайте в интернете, уверяет, что Советская власть не то препятствовала, не то прямо запрещала нам интересоваться своими предками. Почему? Зачем? Она не знает, но уверена. Да разве книги, фильмы, спектакли о временах Александра Невского, Ивана Грозного, Петра, наконец, Ленина и Сталина – не о наших предках? У нее, видимо, предки откуда-то из Африки или из космоса. А ведь дело-то простое. Почти все мы из крестьян. Откуда там взяться генеалогическому древу?

Однако когда мое имя замелькало в печати, Вячеслав Александрович Казанский, заслуженный учитель и краевед из села Михайловского, соседнего с деревней Рыльское, где жили на берегу Непрядвы мои дедушка и бабушка, у которых я и мои сестры каждый год проводили лето, по ревизским сказкам, оказывается, до сих пор хранящихся в областных архивах, составил мне мою родословную по линии отца и возвел ее к Степану Феопентовичу Бушину, жившему в 1703–1754 годы, современнику шести царей от Петра до Елизаветы. Что дает мне знание всего лишь имен Феопента и Степана Бушиных? Вроде бы ничего. Но вроде бы и неохватно много. Если есть у меня какие-то способности, то я обязан этим длинному ряду моих предков, в которых эти способности накапливались столетиями, передавались от поколения к поколению и вот подарены мне. И я чувствую великую ответственность перед длинной чередой предков.

Я считаю себя туляком, потому что из Глухова, что под

Ногинском, где родился, мы уехали, когда мне было лет пять, и ничего не помню из столь раннего детства, кроме странных мистических сновидений да одного совсем не мистического случая: очень любившая меня тетя Агаша, соседка по коммунальной квартире, зачем-то высунула мою юную, ничем не обремененную голову в форточку и долго не могла втащить обратно, хотя, говорю, голова-то было легкая. А изрядную часть и «сознательного детства», и отрочества, и юности я провел как раз в Рыльском у милой бабушки Арины Никифоровны, исконной пролетарке, увезенной дедушкой Федором Григорьевичем, тоже очень добрым и славным, в тульскую деревню. Он был мастер золотые руки, солдат японской войны, но мужик гулевой, время от времени отключавшийся от брэнного мира по причине запоя, что, впрочем, не помешало ему после недолгой и несправедливой тюремной отсидки стать председателем колхоза имени Марата.

В Рыльское я и сестры ездили каждое лето, а изредка и родители с нами. Однажды я был там с отцом зимой. Как раз готовилась коллективизация. Деревня бурлила. В избу набивались мужики со всей деревни и пытали отца – он же был столичный коммунист и образованный человек, врач – пытали, что будет, как и зачем. Иногда поднимался такой гвалт!.. А я лежал на высокой печи и в прорезанное под потолком окошко с интересом смотрел и слушал, ничего не понимая, как в «Войне и мире» моя ровесница шестилетняя Малаша смотрела тоже с печи на совет в Филях. Громче всех шумел

лысый Андрей Семенов, чья изба была напротив и ниже на лугу, доходившем до Непрядвы.

В школу я пошел в 1931 году в Раменском. Это была одноэтажная каменная земская школа – так ее и называли. Был у меня там друг Коля Чистяков, я до сих пор помню его зрительно. Помню и один конфузный случай... В детстве я был болезненно застенчив. Даже в своей семье за обеденным столом не мог ничего сказать громко, как-то обратить на себя внимание без того, чтобы не залиться краской. Вот из-за этого в первом классе однажды и случился конфуз: не посмел во время попроситься выйти из класса... Беда! Катастрофа!.. Правда, никто ничего не заметил. Во второй класс пошел в Кунцеве, а в третий – уже в Измайлове. Старая школа была такого же образца, как в Раменском – каменная, добротная с большим актовым залом. Там, помню, в день какого-то праздника, видимо, Первого мая, умирая от смущения, я читал со сцены стихи:

Я – май зеленый, листочек нежный,
И непокорный, и неудержный.
Вперед стремлюсь я и исчезаю,
И к жизни новой всех вас зову...

Там помню уже многих друзей: Васю Акулова, Толю Антонова, Толю Фомичева... С Фомичевым мы были вратарями двух соперничающих футбольных команд соседних дворов. Помню и классного руководителя Николая Георгиеви-

ча, доброго человека с бельмом на левом глазу. Он очень любил нас, а меня, пожалуй, особенно. Подумать только, из деревни Измайлово, когда еще не было не только метро, но и до трамвая надо была топать несколько верст, он возил нас в Архангельское и в Останкино, в музеи!

Эта школа называлась Белой, а в четвертом классе мы учились в обыкновенной крестьянской избе, в которой было две комнаты и небольшой коридор. Рядом – прекрасная старинная церковь. На Пасху мы видели из окон вереницы старушек, шедших святить куличи.

Стыдно вспоминать, но ведь было... По наущению второклассника Илюхи Котова, заводилы всего класса, я стащил для него у самой учительницы шерстяные перчатки. Да еще гордо напевал потом блатную песенку той поры:

По ширмам бегать научил меня товарищ мой...

Это блатное выражение означает «воровать». Оно есть и в нынешнем словаре воровского жаргона.

Что из пакостей такого же рода застряло в памяти из той поры? Да хотя бы то, как еще в Раменском, т. е. будучи первоклассником, я из кустов сада, умирая от страха, запустил камнем в большое итальянское окно детского сада. Почему, зачем?... Мимо нашего дома озорные фабричные огольцы (сейчас это слово забыто: мальчишки, пацаны) ходили в парк на озеро купаться, и каждый раз они швыряли камни в наши двери и окна и во все горло вопили: «Бей жидов!» Хотя во всем доме был только один еврей – врач Граевский, жена-

тый на французенке мадам Сюзанне. Видимо, я разбил окно только для того, чтобы доказать себе: и я это могу! Комплекс Раскольников. А ведь вроде бы психически вполне нормальный человек...

Пушкин писал:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Лев Толстой однажды заметил: «Надо бы сказать «строк постыдных». Но на такую откровенность, как Толстой, способны немногие. Я не понимаю, как он мог своей жене, семнадцатилетней чистой домашней девочке, дать читать свой дневник за былые годы, в котором ведь чего только не было. Далеко ли это от другого Льва – от Ландау, который говорил жене: «Сегодня вечером я приведу девочку. Приготовь нам чистое постельное белье». И та готовила...

В пятом классе я учился уже в Красной школе на Балкане. А летом 1936 года отец отвел меня в только что построенную четырехэтажную школу № 437, которую я и окончил летом 1941 года за несколько дней до войны.

А в деревню нашу можно было ехать двумя путями: первый – с Курского вокзала до Товарково, а там поджидал с лошастью дед или дядя Гриша, младший брат моего отца, и надо

было плестись еще 25 верст, часто по ужасной жаре; второй путь – с Павелецкого вокзала до Льва Толстого (Астапово), там – пересадка и – до Птани, где опять же кто-то, конечно, встречал. Летом после второго курса Литинститута я позвал с собой в деревню друга-однокурсника Женю Винокурова, прекрасного поэта, милого человека. Прибыли мы в Товарково. Нас никто не встречал: дед давно умер, а кто еще?.. Это же был 1948 год, деревня пережила оккупацию, наша изба сгорела, вероятно, и лошадь невозможно взять в колхозе, если они были. С грехом пополам на весьма специфической сильно ароматической машине мы все же добрались до деревни, где нас ждали дядя Гриша, тетя Лена и мои двоюродные сестры Клава и Тоня, которые ныне живут в прекрасном Минске.

Запомнилась первая самостоятельная поездка в деревню. Мне было тринадцать лет, зимой умер отец, и вот меня почему-то отправили одного. Кто сейчас решится на это? Тем паче, что сестра купила мне билет с Павелецкого, т. е. с пересадкой в Астапово, да еще почему-то вышло так неудачно, что там мне пришлось ждать мой поезд до Птани семнадцать часов, чуть ли не до вечера следующего дня. Куда деваться? Что делать? Хорошо еще было тепло, июнь. Ну, побродил я по станции, посидел в буфете. Наступил тихий вечер и вдруг донесся звук духового оркестра. По незнакомому поселку я пошел на этот звук. Дорога привела в парк, к танцплощадке. Вероятно, была суббота или воскресенье. Посмотрел я на

танцующих. Что мне, тринадцатилетнему, еще делать? Вернулся на станцию. Печаль того вечера памятна мне доныне. А как скоротать ночь?

Уже поздно вечером то ли сам вспомнил, то ли мне кто-то сказал, что ведь здесь умер Толстой. 28 октября 1910 года он, терзаемый стыдом и горем, ушел из Ясной Поляны в сопровождении своего врача Душана Петровича Маковицкого, по дороге в поезде подхватил воспаление легких, в Астапово его ссадили и здесь в квартире начальника станции Ивана Ивановича Озолина, обрусевшего латыша, 7 ноября в 6 часов 5 минут утра писатель умер.

Сейчас в статье священника Георгия Ореханова я прочитал, что старец Варсонофий, игумен Оптиной пустыни, явившийся сюда в предсмертные дни Толстого с целью добиться его покаяния перед церковью, «вынужден был ночевать на вокзале в женской уборной» (Ясная Поляна. «Толстой. Новый век» № 2'06, с. 115). Ждал согласия грешника, и готов был прямо из уборной кинуться к его смертному одру. Не дождался...

Так вот он прямо около станции, этот дом. По моим воспоминаниям, он деревянный, одноэтажный, в пять окон. Но на фотографии в одной книге 60-х годов – два этажа. Как видно, надстроили... Что знал я тогда о Толстом, что читал? «Кавказского пленника», конечно. Его тогда в четвертом или третьем классе проходили. Там, в «Пленнике», все так просто, ясно и благородно: нельзя товарища бросать в

беде. Помните, как Жилин тащил на горбу выбившегося из сил Костылина? Мой друг Вася Акулов, одноклассник, почему-то иногда повторял: «Костылин мужчина грузный...»

И в каком сне могло присниться Пушкину, Лермонтову, Толстому, у каждого из коих был свой «Кавказский пленник», что в XXI веке на их родине снова появятся кавказские пленники – не повести и поэмы, а живые соотечественники. А чего не только классики, жившие сто-двести лет тому назад, но и мы, современники, до сих пор вообразить не могли, так это «московские пленники», т. е. русские в плену у русских. 20 февраля этого года два офицера ГУ МВД похитили и вывезли в Можайский район Московской области Николая М., жителя Смоленска, и потребовали от родных 700 тысяч рублей выкупа. Помните, как дело было в повести Толстого? С Жилина «татары», как они названы автором, потребовали 3000 рублей. Он сказал, что больше 500 они не получат, «татары» согласились, но и этого пленник давать не собирался, старой больной матери негде было взять таких денег, и он нарочно писал письма так, чтобы они не дошли, надеялся бежать. И вот с помощью сердобольной юной «татарочки» удалось. А Костылин выплатил 5000. У Пушкина, и у Лермонтова, не добрая «татарочка», а влюбившиеся в русских пленников черкешенки. Они спасают русских, но в порыве неразделенной любви бросаются в реку, тонут.

Редел на небе мрак глубокий,

Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Но вернемся в 37-й год в Астапово.

Я дернул входную дверь дома Озолина, она, конечно, была заперта, во всех пяти высоких окнах – ни огонька. Несколько раз обошел вокруг дома, как 27 лет тому назад утром 4 ноября Софья Андреевна, приехавшая из Ясной. Устал ходить, сел на крыльцо в три ступеньки. Была уже глубокая ночь, слипались глаза, захотелось спать. Положив под голову сумку, что была со мной, прилег и быстро уснул, как провалился в бездну. Так всю ночь до рассвета и проспал на крыльце этого скорбного дома. На рассвете меня разбудил свисток паровоза.

Чем была для меня ночь, проведенная у двери дома, в котором умер Толстой? Вроде бы ничем. Но, может быть, и неохватно многим. И впрямь, не после посещения Ясной Поляны или музея в Хамовниках, не после того, как положил руку на кожаный черный диван, на котором Толстой родился, не после прочтения «Войны и мира», не после безмолвного стояния у его могилы, не после фильма Бондарчука, о котором я еще и написал большую статью, а гораздо раньше –

после той бесприютной летней ночи до рассвета на крыльце дома Озолина я, отрок, на всю жизнь ощутил какую-то странную, необъяснимую связь с Толстым, постоянный интерес к нему. Может быть, потому, что за полгода до этого умер мой любимый отец и загадка жизни и смерти уже томила юный ум? Не знаю... Конечно, мне тогда неведомы были строки Фета, которые так любил Толстой:

**Не жизни жаль с томительным
дыханьем. Что жизнь и смерть? А жаль
того огня, Что просиял над целым
мирозданием, И в ночь идет и плачет, уходя.**

И какой огонь над мирозданием мог я тогда знать! Одно-
ко...

Не знаю точно когда, видимо, в середине 30-х Измайлово стало частью Сталинского района Москвы. В июне 1941 года я окончил 437-ю школу этого района. За два дня до войны у нас был выпускной вечер. Ах, этот вечер! Сколько в нем было радости и печали, как многозначительны были речи, то-сты и взгляды влюбленных... А как только война началась, девчата нашего класса пошли работать на знаменитый Электроламповый завод, а ребята, в числе которых и я, – на авиационный завод № 266 имени Лепсе, что на Мочальской ули-

це, как сейчас она называется, не знаю, была потом – Ибрагимова. Вскоре почти всех ребят взяли в армию. Но некоторые, как и я, по возрасту еще не подходили, и с началом учебного года мы без экзаменов поступили в институты. Я – в Бауманский, хотя никакой тяги к технике отродясь не имел.

В октябре Бауманский эвакуировался в Ижевск. Я не поехал, а пошел работать слесарем на ту самую Измайловскую прядильно-ткацкую фабрику, где мать, еще в Раменском окончившая курсы медсестер, заведовала здравпунктом. В декабре, когда немцев отбросили от Москвы, некоторые институты возобновили работу. Ближайшим из них к Измайлову был Автомеханический, что на Большой Семеновской. Туда и пошли мы, несколько одноклассников: Нина Головина, Тамара Казачкова, Зоя Серова и я. Здесь летом 1942 года я окончил первый курс и отсюда осенью был призван в армию.

Будучи с отроческих лет очкариком и не обладая сколько-нибудь выдающимися физическими данными, я решил своим 18-летним умом, что лучше всего могу пригодиться на фронте как артиллерист. Толчком в этом направлении оказался очерк Константина Симонова в «Правде» о каком-то замечательном артиллеристе на фронте. Я несколько раз ходил в военкомат и просил направить меня в артиллерийское училище, но направлений все не было и не было. Наконец, военком, кажется, по фамилии Морозов вдруг сообщил: есть направление! Собрали нас команду человек

в пять-шесть, и мы пошагали куда-то в восточное Подмосковье, но не очень близко: в пути ночевали в каком-то клубе на полу на каких-то плакатах и транспарантах. Пришли, и оказалось, что это вовсе не артиллерийское училище, а – химслужбы. Моему огорчению не было границ. Но когда я не прошел медицинскую комиссию, обрадовался, думая, что меня направят обратно в мой военкомат и я все-таки добьюсь артиллерийского. Наивный студия! Меня признали ограниченно годным и тотчас направили в знаменитые Горховецкие лагеря.

Однако любопытное дело с этой медкомиссией. Меня забраковали для училища не по зрению (я в очках лет с пятнадцати), а нашли что-то в сердце. Вот какой строгий был отбор в офицерские училища даже в те суровые дни 1942 года. Недавно мне довелось прочитать изданную на русском языке в Израиле книгу Лии Горчаковой-Эльштейн «Жизнь по лжи». В прошлом советская учительница, отец которой в 37 году был расстрелян, а мать и муж отбыли по 8 лет лагерей, она, казалось бы, должна по меньшей мере сочувствовать страдальцу Солженицыну. Но честный человек, она написала книгу убийственную по силе разоблачения бывшего живого классика и презрения к нему. В частности, она недоумевает, каким образом Солженицын смог попасть не просто в офицерское училище, а на АКУКС – на Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. Во-первых, он до этого был всего лишь рядовым ездовым в глубоко ты-

ловом обозе, вернее, даже не ездовым – тот должен уметь и запрячь лошадь, и управлять ею – Солженицын лишь кормил лошадей да убирал навоз в конюшне. Какое тут усовершенствование? Во-вторых, как пишет его биография Л. Сараскина, «на призывном военкомовском осмотре было признано: «В мирное время – негоден, в военное – нестроевая служба» (Л.С., с 175). И Горчакова резонно заключает: «Никакое училище ему не светило: «нестроевая служба исключала возможность приема в любое военное училище» (с.161). Если бы знала, могла сослаться на мой пример. Значит, и тут, как во всем остальном, Солженицын ловчил, изворачивался, мухлевал, в результате чего оказался на фронте не в 41-м году, как должен был по возрасту, а только в мае 43-го.

И вот, говорю, Гороховецкие лагеря. Это было тяжелое испытание, о котором как-нибудь в другой раз. Пробыл я там месяца полтора-два. Жив остался. Обрел хорошего друга Райса Капина, уже помянутого казаха, моего ровесника. Однажды глубокой ночью нас подняли, привели на станцию, погрузили в телятники и доставили в разбитую Калугу. Там некто, как узнали позже, капитан Шуст отобрал нас с моим другом Райсом, как ребят грамотных в какую-то формирующуюся часть и увез в Мосальск, небольшой городок Калужской области. Там эта часть и формировалась.

Это была 103-я Отдельная армейская рота воздушного наблюдения, оповещения и связи. Такие роты были при каждой армии. Наша рота, как, видимо, и другие, ей подобные,

состояла из четырех взводов во главе с лейтенантами. Это примерно человек 150–200. Взводы располагали вдоль линии фронта свои посты («точки»). На каждом было человек 5–6. Задача состояла в том, чтобы неусыпно наблюдать за небом, вернее, за немецкой авиацией. Мы выучили тактико-технические данные немецких самолетов, знали их профили, внешний вид, и когда они появлялись в небе, мы сообщали по телефону и по радио в штаб ПВО, каким курсом, в каком количестве, на какой высоте и какие именно машины идут. Меня, как уже упоминал, еще при формировании, надо думать, как парня грамотнее других (студент!) да еще москвич – к москвичам на фронте было особое отношение, нас в роте было человек пять – избрали комсоргом роты. Я был комсоргом и в школе, а после войны – и в Литературном институте. Ныне многие о таких делах стыдливо молчат, а я горжусь, ибо меня никто не назначал, не присылал, а избирали свои ребята, знавшие меня как облупленного.

Вскоре меня и еще несколько ребят направили на краткосрочные армейские курсы радистов в прифронтовую деревню Вятчино. Весной 43-го года было голодно, ели конину. Но почему-то каждый раз, когда читаю или слышу гениальные строки Есенина

Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне, —

каждый раз вспоминаю ту голодную прифронтовую весну, гулкую мартовскую рань в деревне Вятчино.

По окончании курсов мы вернулись в роту, и я работал сначала на переносной радиостанции 5-АК («трет бока»), а потом на стационарной, точнее, на колесах РСБ. Как комс-оргу и ротному корифею всех наук мне порой приходилось выполнять поручения и не относившиеся прямо к моей военной профессии, в частности, бывать на постах, о чем я не раз упоминаю в дневнике.

Он начинается с января 1944 года. Перед этим мне дали короткий отпуск, вернее, командировку в Москву. Впрочем, и командировкой это назвать грех. Просто дело в том, что у нашего командующего ПВО полковника Горбаренко была возлюбленная военфельдшер Хилай, видимо, москвичка, по списку она состояла в нашей роте, появлялась у нас редко. У нее были в Москве какие-то родственники. Ей захотелось послать им продовольственную посылочку, собрать которую для ее возлюбленного было не трудно. Собрал. А как отправить? О, есть же в роте москвич Бушин. Меня и послали, пробыл я дома дней семь-десять. Помню, что посылочку я передал кому-то в двухэтажном доме по правой стороне Арбата. Между прочим, явился я домой с чесоткой. Но мать быстро вылечила меня жаркой самодельной баней при больнице и ихтиоловой мазью. И это была единственная болезнь за всю войну. Пожалуй, пока воспоминаний хватит.

Из дневника 1944 года

Нет, надо еще кое-что сказать.

Мой дневник за 1944 год, поскольку я писал его почти всегда карандашом, сейчас прочитать очень трудно, иные страницы просто невозможно. Ну, действительно, ведь им 67 годочков! Однако недавно по случаю я все-таки ухитрился кое-что разобрать.

А случай был такой. С апреля 2009 года незнакомая мне женщина по неведомой причине присылала мне интересные тексты на церковно-религиозные темы. Раз прислала, другой, третий... Я заинтересовался, кто такая? Имя интернациональное – Анна, фамилия – явно не русская, и пишет она ее латиницей. Я спросил. Оказалось – белоруска, а фамилия в переводе означает «аист». «Аист сидит на крыше», как пела молодая и прекрасная Софи Ротару, и шлет мне с крыши, то есть из поднебесья псалмы Иоанна Златоуста. В знак признательности послал ей шуточный мадригал не совсем религиозного характера:

Когда являетесь вы, Анна,
На мой экран в заветный час,
Я превращаюсь в дон Гуана
И дону Анну вижу в вас.

Она подхватила шутку: «Вы рискуете: «тяжело пожатье каменной его десницы...» Десницы дон Альвара не каменного, а живого. О-го-го...

Я написал Анне, что недавно получил медаль «За освобождение Беларуси», поскольку в 1944 году со своей 50-й армией всю ее протопал наискосок с юго-востока на северо-запад – от Быхова до Гродно. И рассказал, как порой голодные из-за отставших кухонь стучались мы в бедные белорусские избы и просили: «Тетка, бульба есть?» – «Есть, тільки трошки дробненькая». И кормила нас тетка и поила, а то и спать укладывала.

Мои воспоминания об этом, родные ей слова «бульба есть?» до слез растрогали Анну. Вспомнилось ей босоное детство, как свиней пасла с хворостиной, как мечтала о стране, где живут только красивые, благородные и бескорыстные люди. А уже став взрослой, оказалась в стране красавца Гайдара, благородного Чубайса да бескорыстного Абрамовича...

А тогда... Помните у Твардовского?

Тетка – где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой.
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой.
Только молвит, провожая:
– Воротиться дай вам Бог...
То была печаль большая,

Как брели мы на восток...

Но нет, в ту пору, с которой начинается дневник, шел уже 44-й год, и мы не на восток брели, а шагали на запад, каждый день считая, сколько осталось до Германии. Это были дни освобождения Белоруссии по гениальному плану Рокоссовского «Багратион». Когда этот план обсуждали в Ставке, все были изумлены. Одновременно два главных удара? Так не бывает. Не может быть! Но Рокоссовский сказал: «А в данном положении это лучший путь!» Сталин попросил его выйти в соседнюю комнату и спокойно наедине подумать. А когда позвали, он повторил: «Два одновременных главных удара!» Сталин еще раз попросил генерала выйти и подумать. Тот вышел, подумал, вернулся и доложил: «Два главных». Сталин в третий раз попросил его подумать наедине. Генерал вышел, подумал, вернулся: «Два!» Только после этого весьма необычный план утвердили. Сталин, знал то, что много лет позже четко выразил мой покойный друг Евгений Винокуров:

Упорствующий до предела

Почти всегда бывает прав.

Операция «Багратион» была одной из самых блистательных за всю войну. И, к слову сказать, именно в ходе ее Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза.

И я листаю дневник тех дней. Операция началась 23 июня, а вот давно забытые, но, по-моему, кое-чем интересные записи за пять месяцев до этого, когда еще стояли в обороне. Итак...

25 января, Белоруссия, Железинка

Вчера мне исполнилось двадцать. Отметить это никак не удалось. Вот так незаметно и вступил в третий десяток. А сержанту Шарову 50. Мне до него еще 30 лет сознательной жизни! Когда Юлий Цезарь был на два года старше, чем я сейчас, то, вспомнив Александра Македонского, из молодых да раннего, воскликнул: «Двадцать два! И еще ничего не сделано для бессмертия!» Ведь тот-то уже... А кого в детстве слуга будил словами: «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела»? Кажется, Сен-Симона.

Вернулся из короткой командировки в Москву. Нина подарила мне толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете, и вот решил использовать ее для дневника, для рассказа о моих сенсимоновских делах. Еще в школе однажды, кажется, начал вести, но потом бросил. На этот раз авось не брошу эти «Записки о Галльской войне».

Говорят, в дневниках обычно врут. Конечно, врать самому себе порой гораздо более необходимо, чем другим. Да иногда и утешительно, даже отраднo. Но постараюсь не врать. Вот Добролюбов вел настолько откровенный дневник, что при его публикации Чернышевский счел нужным иные

места вычеркнуть. Но это еще не значит, что Д. был до конца откровенным.

27 января

Стоит сырая туманная погода. Ходить в валенках невозможно. Такой мокрой зимы я не помню. Клава Якушева продолжает хворать. Сегодня вместо нее ротный меня послал на почту. Потом мылся без мыла в холодной дымной бане (топил сам). И стирал без мыла. Слава богу, оно чистое. Перед этим его стирала Ада (домашнее имя родной сестры Клавдии-Адии-Ады).

Вчера полк. Горбаренко вручал награды. Гроздицкий получил ор. Красной Звезды. Он был ранен еще при артналете в Мосальске. Михайлин и Хилай – тоже Кр. Зв. Думаю, в следующий раз получит награду Адаев.

А Нечаева и Артюшенко отправили в штрафную роту. Ко-му что.

Капитан Ванеев (командир роты) сказал, что в молодости тоже писал стихи. Я заметил, что в молодости пишут все. Нет, возразил он, пишут только «ищущие». И тут же к чему-то привел слова Ленина: «Я тоже ищущий. Я ищу, на чем сломали себе головы прежние мыслители». Оказывается, Черчилль сказал про Ленина, что такие люди рождаются один раз в 500 лет (из того же разговора с капитаном).

А дома я будто и не бывал...

29 января

Сегодня опять заступил дежурным по роте. Время двенадцатый час. Только что сменил посты. Хочется спать...

Корнеев вот уже несколько дней пристает ко мне с таинственным делом. Уверяет, что Артемов – бывший шпион. Будто бы он и его отец выполняли специальные задания немцев, будто он завел группу наших бойцов в немецкую засаду, будто советовал Корнееву в случае чего сдаваться в плен и проситься в транспортную роту, он, мол, знаком с ней и т. п. Верно то, что А. был на оккупированной территории под Калугой. А все остальное? Кто говорит-то! Кабы кто толковый, а то ведь сущее трепло. Ему нравится интересная игра. Ведет какие-то глупые записи латинскими буквами. Говорит, что связан со ст. лейт. Кулимановым из Особого отдела. Будто занят этим Артемовым уже девять месяцев. Разрабатывает...

Вчера, когда он разжигал печку, там взорвался патрон. Уверяет, что это устроил Артемов, покушался на его драгоценную жизнь. В роте многие заболели желудком – тоже рука А-а. Скорее всего, чепуха все это.

Получил письма от мамы и Ады. Мне становится не по себе, когда представляю, что кто-нибудь из родных голодает: мама, Галя, Ада, Нина, Павел. Готов вынести что угодно, только бы не это.

Сегодня взяты Новосokolьники.

1 февраля, Железинка

Два вечера разучивали новый гимн.

Видно, союзникам нашим старый очень не нравился. Ну как же!

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем —

Мы наш, мы новым мир построим:

Кто был ничем, тот станет всем.

Ах, вам не нравится? Пожалуйста, вот новый, но старый стал гимном многомиллионной партии, у которой раньше никакого официального гимна на было. Но была просто песня Александра «Гимн партии большевиков», которую исполнял ансамбль Красной Армии. На музыку этой песни и положили слова нового гимна. Умен, ловок, хитер товарищ Сталин!

Уж как мусолила телевизионная шарага (запомнилась куда-то провалившаяся Светлана Сорокина), вырвав их из песни, слова «разрушим до основанья»! Подавали это так, будто коммунисты хотели разрушить не «мир насилья», а все на свете и ничего не создавать. Какое бесстыдство, помноженное на тупость! Сегодня, 30 апреля, по ТВ сообщили, что аэродромом Домодедово, оказывается, владеет какая-то иностранная фирма. Какая? Докопаться не могут. Крупней-

шим и ближайшим к столице аэродромом! Да что может помешать за три-четыре часа подготовить его для приема вражеских десантов? Но может, и никакой подготовки не требуется. А в прошлом году в стране было выпущено 7 самолетов, в позапрошлом – 4. Рост – 75 %. Небывалый в мире! За одно это вас без суда и следствия...

21 декабря 1920 года в заключительном слове на Восьмом съезде советов Ленин огласил полученную им записку: «На Арзамасском уездном съезде Нижегородской губернии один беспартийный крестьянин по поводу иностранных концессий заявил: «Товарищи! Мы вас посылаем на Всероссийский съезд и заявляем, что мы, крестьяне, готовы еще три года голодать, нести повинности, только Россию-матушку на концессии не продавайте!» (ПСС, т. 42, с. 118)

Остался ли в Нижегородской области хоть один такой крестьянин после того, как там несколько лет погубернаторствовал прощелыга Немцов?

Сегодня на попутной машине ездил с Бондаренко как комсорг роты в политотдел армии. Он там получил комсомольский билет. Потом хлопотал, чтобы прислали к нам кинопередвижку. Ведь давно обещали. И опять только обещают.

Из политотдела зашел на пост Ракова. У него вполне приличная конурка. Встретил тут девчат из второго взвода. Они идут из госпиталя в Железинке, где проходили осмотр, к се-

бе во взвод и вот зашли. Все такие веселые, задорные, озорные.

Вано Бердзенишвили, начхим, рассказал. Мелкий странствующий торговец в станционном буфете захудалого городка попросил в долг десяток вареных яиц. Лишь через два года случилось ему снова оказаться в этом городке. Желая честно расплатиться с буфетчиком, он предложил ему деньги, вполне достаточные за десяток яиц. Но буфетчик сказал: «Ты должен мне гораздо больше. Посчитай: из десяти яиц вылупились бы десять цыплят, которые вырастут и тоже снесут яйца, из которых опять вылупятся цыплята... Посчитай, сколько же ты мне задолжал за два года». Должник не согласился, и дело дошло до суда.

Перед судом торговец зашел к своему веселому приятелю и попросил совета. Тот сказал: «Дай мне десять копеек на нужды твоего спасения». Тот дал. И приятель купил на это десять копеек фасоль и сварил ее. Когда начался суд, весельчак вошел в зал и стал разбрасывать по полу вареную фасоль. «Что ты делаешь, безумец?» – спросил судья. «Я сажаю фасоль», – ответил веселый человек. «Но разве взойдет по каменному полу фасоль да еще вареная?» – опять спросил судья. «О мудрейший, – ответил приятель подсудимого, – если ты намерен решать вопрос о цыплятах из вареных яиц, то почему сразу не веришь, что вареная фасоль взойдет на каменном полу?»

Кого, кроме русских, знал я до войны, до фронта? Украинцев, евреев, татар, ну, была у нас еще домработница Лина, белоруска. А на фронте! Кроме опять же украинца Козленко, еврея Берковича, татарина Губайдуллина встретил еще и грузина Бердзенишвили, казаха Капина, удмурта Адаева, мордвина Модунова, молдаванина Юрескула, чуваша Казакова, узбека Зиятдинова, цыгана Казанина... Какой букет! Какое разнообразие! И все говорим на одном языке.

Некоторые уверяют, что на фронте они не различали, кто какой национальности. Григорий Бакланов писал даже, что его это не интересовало. А недавно вдова писателя М. рассказывала мне об одной женщине, которую я должен бы знать, но не мог вспомнить, и спросил: «Эта азербайджанка?» Собеседница с вызовом ответила: «Национальность человека меня никогда не интересует!» Очень странно. Как я мог не интересоваться, вдруг встретив на фронте такое неизвестное мне дотоле разнообразие! Ведь в свободное время у нас только и разговоров было, что о доме: как где хлеб пекут, как свадьбы играют, как хоронят... И это было очень интересно, особенно таким, как мы с Баклановым – вчерашним школьникам. Другое дело, что на национальной почве не было никаких конфликтов, даже трений. Это святая правда. А если порой и подшучивали друг над другом, так это только мы, русские: тамбовский волк, Рязань косопузая, владимирский водохлеб, вятские ребята хватские – семеро одного не бояться и т. д.

2 февраля

Вчера, дождался у Ракова капитана Ванеева, поехал вместе с ним на СПП (сортировочно-пересыльный пункт) за пополнением. Увы, людей не оказалось. А сегодня пришлось провожать на СПП Яшку повара и Степанова. Они вчера перепились самогону. Старшина Буркин воспользовался этим. Теперь все недостатки на складе свалит на Яшку, дескать, пропивал. Жалко Яшку. Дурак он, связался с эти Степановым. Он же, тертый калач, где только ни бывал. А Яшка-то неопытный, неповоротливый, пропадет он в пехоте, если туда направят. Сдал я их уже поздно, а мне надо было еще получить троих. Я решил переночевать на посту Ракова, а завтра опять на СПП. У Ракова на точке потешный старик-гармонист. На линию он не ходит, ничего не делает, лейтенант держит его только из-за гармошки. Он знает одних вальсов 16 штук.

Сегодня должен быть опубликован доклад Молотова по второму вопросу повестки дня сессии. Видимо, это будет результатом Тегеранской конференции.

4 февраля, около часа ночи

Только что узнали по радио, что войска 1-го и 2-го Украинского фронтов окружили 10 дивизий – 9 стрелковых и 1 танковую. Освободили города Шпола, Смела, Звенигородка... Красиво получается! Это же почти половина Сталин-

града. Но, с одной стороны, сравнивать со Ст-м, очевидно нельзя, п.ч. там были отборные, высоко оснащенные техникой войска, а с другой стороны, учитывая, что сейчас для немцев очень дорога каждая дивизия, можно думать, что последствия будут серьезными. Как проклинает, поди, Гитлер сейчас тот день, когда решил напасть на нас! Что получается? В сущности русский человек решил ход истории. Если бы мы не устояли, все было бы иначе. Как бы сейчас ликовал немец, чванливый, самоуверенный только тогда, когда за ним сила. Но вот она – справедливость. Это не отвлеченное понятие и не заблуждение. В таких делах как судьба мира, она побеждает. Мерзавцы и наглецы! Вся-то их Фатерландия не стоит одной русской деревеньки.

Вчера переночевал у Ракова. Утром они накормили меня картошкой на молоке да блинами, и я пошел на СПП: надо выбрать для роты троих. Вообще-то неприятная задача. Как на невольничьем рынке. Построили передо мной человек десять один другого краше. У молодого парня недержание мочи, остальные припадочные. Кому они нужны? Зачем их в армии держат? Это же балласт. Никого и не выбрал. Пришел в роту рассказал капитану, он промолчал.

Получил письма: от мамы, Нины (почему-то № 7, а потом № 6) и Веры Соломахо.

С Верой я подружился в 1939 году в пионерском лагере, кажется, в Софрино.

Это была живая, жизнерадостная, не больно красивая, но приятная девчонка из очень бедной семьи. Она мне нравилась. Не забыть, как мы провожали ее в Артек. На фронт она прислала мне несколько писем. После войны я разыскал ее. Она жила с матерью в какой-то жуткой хибаре на дне огромного котлована какой-то огромной стройки в Филях, в этом районе жили они и до войны. Она вышла замуж, и мужа ее за что-то посадили.

А в пионерском лагере я был дважды. Оба раз меня взяли с трудом: после четвертого класса был слишком мал, а после девятого – ну, какой же я пионер! Вот так же с трудом пять лет принимали меня и в Союз писателей: то слишком правый, то слишком левый, то слишком русский, то недорусский Ну, прямо как у Пушкина:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет...

А возглавлял тогда приемную комиссию Анатолий Рыбаков. Галя, жена писателя Виктора Ревунова, зубной врач, ездила к нему лечить зубы. И однажды говорит: «Вчера была у Рыбакова. Он спрашивал, с кем мы видимся. Я сказала, что с Бушиными. И он так стал тебя хвалить: талант! большой талант!» Ну, вот, а в Союз пять лет не пускал большой талант.

Последний раз дело было так. В ту пору по праздникам в редакциях устраивали застолья. В журнале «Дружба наро-

дов», где я тогда работал, мы его и учинили в конце рабочего дня то ли 8 марта, то ли 7 ноября 1965 года. Но в тот вечер я должен был встретиться с одной супружеской парой, давними приятелями, около Театра киноактера, что был на улице Воровского прямо через дорогу против журнала. Мы хотели пойти в этот театр на праздничный концерт. Видимо, я заранее получил или купил туда билеты и пригласил друзей. И вот после нескольких хороших рюмок и тостов – среди них был и тост Ярослава Смелякова: «За Бушина!». Ему очень по душе пришлась моя недавняя статья «Кому мешал Теплый переулок» в «Литгазете» против несуразных антиисторических переименованиях наших городов, улиц и т. д. – я оставил застолье и в отличном состоянии духа двинул в Театр на-против. В условленный час мои друзья не явились. Продав их какое-то время, я пошел на концерт один. В фойе уже никого не было. Я стал прогуливаться в некоторой нерешительности: авось друзья еще придут. Вдруг капельдинерша, увидев скучающего бездельника, а в зале, как оказалось, народа явная нехватка, схватила меня и сунула в какую-то дверь, и я оказался в одиночестве чуть ли не в правительственной ложе. Шел концерт, и притом ужасно скучный. Но скучнее всего был конференсье. Я некоторое время терпел, но вскоре по причине духовного парения после выпитого все-таки не выдержал и что-то громко вякнул из своей правительственной ложи. Конференсье дурак ответил. Завязалась перепалка. Публика, уверенная, что так и было задумано, захохотала.

ла. Но вдруг открылась дверь в ложу и два добрых молодца вывели меня под белые ручки. И это под наблюдением администратора Лосева, который раньше работал в «Московской правде», печатал там мои статьи и прекрасно знал, что большой общественной опасности я не представляю. Что мне оставалось делать при виде такого непонимания духовного парения и явного вероломства? Я смиренно удалился...

И вот кто-то сочинил, как тогда говорили, «телегу», в которой моя деликатная полемика с конференсье была представлена как антисемитская выходка. Возможно, мой собеседник был еврей, но, во-первых, я этого не знал, не мог узнать с налету, тем более, под градусом. Во-вторых, в моих доводах и аргументах не было ничего такого. И вот «телега» была направлена не главному редактору журнала, не в парторганизацию, что было бы понятно, а в самый важный тогда для меня пункт – в приемную комиссию Союза писателей, где тогда лежало мое заявление о приеме, в болевую точку. Кто-то орудовал с умом. И Рыбаков на заседании сказал примерно так:

– Все мы знаем Бушина, но вот бумага о его антисемитской выходке. Отложим...

И отложили. Пришлось мне вступать в Союз писателей не через приемную комиссию, а через Секретариат Московского отделения, где, впрочем, при голосовании голоса разделились ровно пополам, но Сергей Михалков вдруг вспомнил: в таких случаях голос председателя, коим он был, име-

ет двойной вес. Так одним голосом я и проскочил. Но самое замечательное в истории с «телегой» то, что фамилия друзей, которых я не дождался у Театра и пустился на антисемитскую выходку, – Гальперины, Саша и Регина.

А в пионерском лагере, с чего я начал это отступление, оба раза было замечательно! Сколько друзей я там обрел!..

5 февраля

Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

..

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой...

Как эти пушкинские строки («Подражание Корану») попали в мой фронтовой дневник, не знаю. А сейчас вспомнилась Ахматова:

Я клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь,
И ночей наших пламенных чадом —
Я к тебе никогда не вернусь...

У Пушкина все выдержано на уровне, достойном высокой клятвы, а Ахматова клянется одновременно и чудотворной иконой и чадом пламенных ночей – недопустимое для верующего человека смешение уровней.

9 февраля

Если дневник попадет кому-то в руки, могут быть неприятности. Надо внимательней беречь его.

Вчера отправили на пересыльный Артемова, а Корнеева на 10-дневные курсы минеров. Хотели еще Казанина, но он завопил: «Не хочу быть подарком!» Капитан Ванеев махнул рукой.

По старому наряду я привел с СПП трех старичков: Ржанов – 47 лет, Смирнов – 52 и Старовойтов – 52. Последний из деревни Теляши, где стоял взвод Павлова. Моложе, лучше мне найти не удалось. А военфельдшер Иван Хмелинин ругается: у них у всех гастрит. Капитан отнесся к этому благодушно. Он стал звать меня начальником укомплектования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.